

СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ

История существует не для историков, медицина не для врачей, а богословие не для богословов. Один из самых важных, самых проникновенных и глубоких христианских мыслителей и церковных деятелей XX — начала XXI века митрополит Сурожский Антоний (Блум) сознавал это с предельной ясностью. Тем более, что по «первой профессии» он был врачом, хирургия на долгие годы стала его призванием, он даже диссертацию по медицине защитил. От хирурга ждут не сложных слов, а быстрых действий по спасению тела; священник должен столь же быстро и столь же спасительно вмешаться в болезни духа. А в основе этой службы мгновенного спасения, телесного и духовного, лежит личный опыт, соборное знание и самоотверженная любовь. Та, о которой владыка сказал одной из своих собеседниц: «В чем тайна Троицы?».— «Эта тайна — любовь».

Деятельная, источающая радость, строгая, изредка суровая, но всегда пламенеющая любовь была главным мотивом его жизни и сердцевиной его богословия. Рожденный в семье российского

консула и связанный по праву рождения с дореволюционной элитой (дядя его — композитор Скрябин), будущий владыка разделил с эмиграцией первой волны все выпавшие на ее долю бедствия. Аскетическая жизнь в Париже, школа на окраине, где его нещадно били... С французами он разделил путь Сопrotивления, активным участником которого осознанно стал. С англичанами, когда его переведут служить в Лондон, он разделит кризисы, экономические, политические, а позже и религиозные, когда Англиканская церковь столкнется с серьезными проблемами. А с теми, кому выпала жизнь в СССР, он разделил принадлежность к гонимой, подневольной и социально опозоренной «красной» Церкви.

И всё это (за исключением лишь раннего периода, когда жизненный путь за него выбирали родители) — по доброй воле, в прямом смысле слова самоотверженно.

Он, со своими разнообразными дарованиями, мог найти себя в европейском мире, но выбрал участь — русского монаха и священника, затем епископа. Потому что так было нужнее, а значит — правильнее. Он мог бы нести свое служение в Русской православной зарубежной церкви или в Константинопольском патриархате и не платить по моральным счетам «советского» епископата. Но когда мать терпит поругание, совесть велит остаться с ней; так он рассуждал. И еще одно соображение: уйди владыка в другую, более «чистую» юрисдикцию, ему никто бы не позволил, пусть редко, пусть с огромными перерывами, бывать на несчастной родине, встречаться с прихожанами, в том числе на закрытых «квартирниках» 1960–1970-х годов. То есть поддерживать тех, кто жизненно нуждался в этих встречах. Заложники не виноваты, что их захватили; если есть возможность пробраться сквозь заслоны и прийти к ним, протянуть руку — следует так поступать.

Не случайно большинство его работ не написаны, а записаны; благодаря многим верным помощникам, все важнейшие беседы владыки были расшифрованы и подго-

товлены к печати, а след устной речи, ее живой привкус сохранен. Это очень важно. Звучащее слово адресовано тем, кто рядом с тобой, слушает тебя здесь и сейчас, а не тем, кто (может быть) когда-нибудь прочтет написанное тобой. Оно, это слово, настроено на одну волну с собеседником, бьется с ним в унисон, всегда открыто встречному вопросу. В нем как бы есть выемка, дупло, куда можно вложить ответное послание. Оно разрешает и даже благословляет наше встречное недоумение, сомнение, вдохновение. Смысл не приходит в такие тексты в готовом, сложившемся виде, он рождается и формируется в момент произнесения. И читая обработанную расшифровку, мы присутствуем при чуде пульсирующей, непредсказуемо разворачивающейся мысли.

Мысли не отвлеченной, а конкретной, сообщаемой наедине, глаза в глаза. Всем сразу, но каждому — лично. Поэтому так часто возникает ощущение от текстов владыки, будто он не проповедует, а исповедует. Над страницей книги словно бы накинута епитрахиль, и звучит низкий голос: «Аз же точию свидетель есмь». И ты, повторяя про себя его слова, словно исповедуешься и освобождаешься. Нет, не от греха; чтение не равнозначно таинству. Но от чувства опустошенности, потерянности, оставленности. Церковная исповедь — для верующих, и то не для всех; исповедальная проповедь митрополита Антония — для каждого, кто пожелает, кто готов к разговору. Православного и инако верующего, не верующего вовсе. Человека.

Из этого следует и другое: проповедник, поставивший любовь в центр своего религиозного опыта, а своим центральным жанром избравший равноправный разговор с верующим и неверующим, сам должен быть — предельно открытым и одновременно предельно твердым, стержневым. Не откроешься настежь, не услышишь боль и радость собеседника, не сможешь вступить с ним в полноценное общение, утратишь убедительность, впадешь в состояние риторической анемии. Не будешь твердым

во взглядах, определенным в суждениях, ясным в исповедании веры — немедленно утратишь фокус, станешь теплохладным, всеприемлющим, а значит, равнодушным. И речь твоя рассредоточится, утратит сквозное единство.

Насколько владыка был открытым, оценит любой читатель этой книги. А насколько он умел быть требователен, можно понять и почувствовать из его реплики во время встречи в Московской духовной академии. Студент, будущий пастырь, дерзко возразил митрополиту: «Я не могу принять того, что вы говорите о священнике. Я получил священническое рукоположение, я — живая икона Христа». Я тогда спросил: «Ты знаешь, что такое икона?» — «Да, это священное изображение». — «Икона начинается с того, что это кусок дерева. Делается доска, ее приготавливают, затем на ней пишут, и она становится иконой, когда ее освящают. Она становится иконой, когда люди смотрят на нее и видят уже не ее, а того, кто на ней изображен. Святой Иоанн Златоуст говорит: если хочешь молиться, встань перед иконой и закрой глаза, потому что икона — открытое окно к Богу, к святым. Пока ты не стал таковым, ты просто раскрашенная доска, а не икона Христа»».

Но эта требовательность — не от самодостаточной суровости, она тоже — от любви. И к этому конкретному священнику, и к его будущему прихожанину, которому предстоит встреча либо с раскрашенной доской, либо с живым проводником истины. А эта истина дается всем, кто хочет и готов с ней встретиться. Среди рассказов владыки есть важное воспоминание о поездке в Индию, где он много часов наблюдал, как молятся в стране победившего язычества. Что мог сказать «обычный» православный богослов об этом молитвенном действе? Легко догадаться. И доморощенные ревнители веры обвиняли владыку в том, что он релятивист. А митрополит Антоний исходил из другого, не из равенства вер и коррозии взглядов. А из презумпции истины. Человек в конечном счете молится Истинному Богу, а не своим представлениям о Нем.

И в той мере, в какой его молитва глубока и сильна, она доходит до Единственного. Истина открыта индуистам в малой степени, но упорство и сила надежды могут дать им то, чего не достигаем мы. Свет бьет нам в окно, а к ним пробивается сквозь щелку, но мы часто закрываем ставни, а они приникают к щелке.

Любовь сулит прощение и понимание. И она же не дает уйти в уютные дебри, в теологические отвлеченности, отвернувшись от современника — такого, какой тебе дан. Со всеми его радостями и страхами, интеллектуальным багажом и жизненным опытом, чаще всего далеким от евангельской нормы. Беседы и даже книги владыки (всегда короткие, потому что в отличие от трактата, разговор о душе и по душам не терпит многословия) адресованы этому самому современнику. Они отвечают на вопросы очень конкретные, связанные с переживаемой эпохой: может ли еще молиться современный человек? А если да, то как и в каких формах? А верить — может? Во что и, опять же, как. А сомневаться имеет право? В чем именно?

Но чем конкретней, даже актуальней тема, которую поднимает владыка, тем яснее, что она просвечена светом вечности. Оттуда, из вечности смотрит митрополит Сурожский Антоний (Блум) на нас своими глубоко посаженными глазами. Оттуда, из вечности идут его размышления и советы. И мы становимся причастны вечности — через него. «И вот, бессмертные на время,/ Мы к лику сосен причтены. И от болезней, эпидемий/ И смерти освобождены», как писал Пастернак. Иначе это было бы скоропортящееся богословие минуты, которое ничем не лучше вневременного, абстрактного богословия.

В итоге достигается эффект, который кажется сегодня невозможным: сам собой исчезает барьер, разлучивший новые поколения с многовековым опытом веры. По легенде, приближенные попытались объяснить папе Римскому Иоанну XXIII, задумавшему созвать Второй Ватиканский собор 1962–1965 годов, что это невозможно. Все обстоя-

■ А. Архангельский

тельства против, нет никаких предпосылок. «Невозможно? — будто бы воскликнул понтифик. — Значит, стоит попробовать».

Дело сейчас не в том, как правильно оценивать Второй Ватиканский и уместно ли ссылаться православным на чужой опыт. Важно другое. Сегодня многим кажется, что верить в Бога, молиться Ему, тем более размышлять о Церкви уже невозможно, мы опрокинуты в немоту. Но если невозможно — значит, стоит попробовать. Во времена совсем уже немыслимые, непереносимые владыка Антоний попробовал, и у него получилось.

Александр Архангельский, литератор

ВСТРЕЧА С БОГОМ

О встрече и о вере¹

Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отними от нас, но обнови нас, молящихся.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконныя путем Твоим и нечестивии Тебе обратятся...

Хочется поблагодарить Бога за то, что мне дано снова с вами быть сегодня. Каждая встреча — чудо; и, может быть, одно из самых больших чудес — то, что это чудо повторяется, и растет, и ширится, и все больше и больше людей приобщается к этому чуду встречи.

Мне хочется сказать сейчас несколько слов о самой встрече, а затем о вере, потому что они связаны друг со другом так неразлучно.

Когда читаешь Ветхий или Новый Завет, когда читаешь историю Церкви, жизнь святых, жизнь греш-

¹ Москва, декабрь 1973 г. Первая публикация: *Антоний, митрополит Суражский*. Труды. Книга 2-я. М.: Практика, 2007.

ных людей — всё зависит от встречи, всё — сплошная встреча. Один из отцов пустыни говорил: «От ближнего нашего нам и жизнь, и смерть»¹. Ближний наш может нам открыть тайну любви, и ближний наш может убить в нас последнюю надежду, убить любовь, смысл. И ближний — это каждый из нас по отношению к каждому другому. И не только те из нас, которые друг друга знают, которые, как теперь, связаны встречей, но и те, которые просто случайно проходят мимо, не заметив друг друга. Если живешь внимательно и смотришь на людей на улице, в метро, в автобусе, везде — сколько настоящих встреч бывает через лицо человека. Человек иногда тебя впускает мгновенно в самую глубину своей души через открывшиеся глаза, приобщает тебя к своей жизни через голос, через то, как он говорит с тобой даже о самом обыкновенном, незначительном.

И вот так всё в жизни — встреча. Бывают встречи как бы вне Бога, очень страшные встречи, когда люди не только мимо проходят, но будто сталкиваются — и расходятся, оттолкнувшись друг от друга, встретившись только на самой поверхности, ударившись, иногда больно, друг о друга.

А бывают встречи, где Бог присутствует; и бывают встречи с Самим Богом. Когда читаешь Ветхий Завет, первые его строки, и себе представляешь, что случилось, когда вдруг прозвучало творческое слово Божие, которое вызывало одну тварь после другой к бытию — какое чудо встречи это было! Когда из совершенного отсутствия, из небытия, вдруг вырастала какая-нибудь тварь, и первое, что она встречала — Живого Бога, Который ее восхотел, Который ее вызвал к бытию, Который ее настолько полюбил еще до того, как она стала, что Он ее позвал по имени.

Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. ■¹
Изд. 3-е (репринт: М., 1991). С. 318.

Я не знаю, замечали ли вы в Евангелии от Иоанна, в конце девятой главы, в рассказе об исцелении слепорожденного (Ин 9:36–38): слепорожденный, который теперь стал зрячим, встречается Христа и спрашивает, кто же этот Сын Человеческий, о Котором его допрашивают. И Христос ему отвечает словами, которые нам кажутся почти незначительными, потому что они такие привычные: *Ты Его видел — Он перед тобой*. Слова «Ты Его видел» для нас совершенно нормальные, мы зрячие, мы видим друг друга все время, мы видим вокруг себя предметы. Но это мы. Тот человек был слепорожденный, он никогда ничего не видел, никого не видел до мгновения, когда Христос ему дал зрение. И первое, что он увидел, — лик воплотившегося Бога, очи Божии, взирающие на него очами Христа. Первое, что он увидел в жизни, — это своего Бога, по любви, по милосердию ставшего человеком.

Один румынский писатель нашего времени, Виргил Георгиу (он стал священником, оставаясь писателем), рассказывает о впечатлении, которое оставило в его душе лицо его отца. Первое воспоминание его жизни — лицо отца, склоненное над его колыбелью. И он говорит, что это первая икона, которую он видел. Не потому, что это лицо было *красиво*, а потому, что оно было *прекрасно*. Это лицо было выражением любви, ничего другого в этом лице не было: любовь, вдумчивость, забота, надежда, вера в будущее этого мальчика. Это — встреча¹.

Каждый из нас мог бы для другого быть такой встречей. И как грустно думать, что так редко мы бываем такой встречей; что человек может нас встретить, посмотреть нам в лицо, заглянуть в глаза — и не увидеть ничего: не увидеть икону, не увидеть сияющий через

¹ | *Gheorghiu C. Virgil. De la vingt-cinquième heure à l'heure éternelle. Paris: Librairie Plon, 1965, p. 7–8.*

лицо Свет невечерний, Божию любовь, Божию заботу, Божию надежду, веру в нас.

Когда думаешь о начале книги Бытия, о том, как каждая тварь возникла, и первое, что ей представлялось, — это встреча с Богом, какое-то лицезрение Бога: не очами, не нутром, а какой-то встречей между Живым Богом и вызванным из небытия творением, когда думаешь о том, что мгновенно, возникая из небытия, каждая тварь открывала и Бога, и все другие твари, которые возникали в радости, в ликовании, — какая это красота!

К этой встрече мы все призваны, и эта встреча никогда не является только встречей с Богом или только встречей с человеком, потому что встреча очень редко бывает с Богом только, она всегда в каком-то контексте. Где-то — или до этого, или одновременно с этой встречей — стоит человек, человек в самом большом смысле слова. Как святой Ириней Лионский говорит где-то: слава Божия, сияние Божией славы — это полностью осуществившийся человек¹.

Почему же бывает, что мы не можем встретиться? Отчасти потому, что мы не ищем встречи, отчасти, потому что мы домогаемся встречи. Мы ее часто не ищем и потому не умеем смотреть, не умеем слушать. Мы выбираем: на кого мы смотрим, а по кому, кто нам неинтересен, лишь скользнет наш взор; мы выбираем: что, кого мы будем слушать, а кого не станем слушать. Или наоборот: мы хотим встречи, но вместо того чтобы открыться и ждать этой встречи, мы стараемся вторгаться в человека, и человек закрывается, потому что встреча всегда страшная. Встретиться — это значит встретиться навсегда, встреча — значит встретиться на такой глубине, где два бытия уже переплетутся в общую ответственность, этого не забыть, от этого не уйти. Встре-

Ириней Лионский. Против ересей, 4:38:3. СПб: 1900
(репринт 1996). С. 435. 1

титься страшно — и мы закрываемся, потому что так часто бывает больно от встречи и больно, когда встреча кончается крушением человеческих отношений.

Нам надо учиться смотреть с тем, чтобы видеть, — просто видеть человека, какой он есть, предполагая, что такой, какой он есть, он гораздо более значительный, чем тот человек, какого мы хотели бы в нем видеть. Не стараться видеть только то, что нам хочется видеть: перед нами Бог ставит человека как откровение — откровение красоты, откровение изуродованности и, соединяющее красоту и изуродованность, откровение человеческого страдания. Страшно заглянуть в красоту, в изуродованность, в страдание. Это требует готовности заглянуть в человека и поплатиться за то, что встреча совершилась.

И слушать мы не умеем, потому что за словами — целая жизнь, целая душа. Слова так часто служат ширмой и только приоткрывают нам смысл того, что человек *хотел бы* сказать, того крика души, который он не умеет выразить и который до нас не доходит. За словами мысль стоит, за мыслью — чувство, а за всем этим — просто весь человек. Есть стихотворение немецкой писательницы Марии Эшенбах¹, она спрашивает: что есть такое в малой песенке, что ее можно так любить? что же в ней, скажи! И ответ: в ней заложено немного гармонии, немного звучности и целая душа... И вот во всем, что говорит человек, даже в самом обыкновенном, может открыться душа, если мы только сумеем пройти через слова насквозь, если научимся тому, что слова бывают или могут стать прозрачными и что за этими словами мы можем видеть, как через окно, одну даль за другой, одну глубину за другой. И тогда бывает встреча. Но опять-таки, как я уже сказал, мы этого боимся, и для того, чтобы встретиться, надо быть готовым

¹ ■ Эбнер-Эшенбах, Мария фон (1830–1916), австрийская романистка.

к тому, что всякая встреча может обойтись нам болью или такой раздирающей душу радостью, которую трудно пережить.

Вы, может быть, себе задаете вопрос: почему я все это говорю как вступление к тому, что я о вере хочу сказать? Я сейчас попробую связать это с тем, что еще хотелось бы вам сказать.

Есть подвижническое слово святого Макария Великого¹, в котором он себе задает вопрос: где начинается вера? каким образом человеческий опыт делается верой? что такое вера, какова ее природа? И вот приблизительно что он отвечает (к тому, что он говорит, я прибавлю кое-что для пояснения, моя цель не в том, чтобы изложить точно слова Макария, а довести нечто до вашего сознания). Он говорит: бывает, что чувство близости Божией делается таким сильным, охватывает нас так глубоко, держит нас с такой силой, что кроме этого чувства Бога, мы ничего больше чувствовать не можем. Мы не можем больше мыслить, наши мысли остановлены созерцанием, мы только можем чистым умом глядеть в эту тайну приблизившегося к нам Бога. Наше сердце заполнено этим опытом, даже наше тело уже над собой не имеет власти. Мы и этот опыт — одно и то же, мы не можем одновременно его переживать до конца и следить за тем, что с нами происходит, мы охвачены этим опытом без остатка. Это состояние, говорит Макарий, состояние блаженства, когда мы так чьем Бога, что нам не только ничего другого не нужно, — мы ничего другого не знаем и ни о чем другом не знаем.

Этого, говорит Макарий, было бы достаточно для того человека, кому это дано, но у Бога есть забота не только о том, кто оказался способным на это переживание, у Него забота тоже и о тех, которые еще

Макарий Великий (или Египетский, ок. 300–391), преп., автор духовных бесед и ряда молитв. ■¹